

ИСТОРИЯ РУССКОГО XVIII ВЕКА – НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА

© 2011 г. В. С. Листов

В работе сделана попытка реконструкции некоторых черт замысла Пушкина, оставшегося неосуществленным: написать многотомное сочинение по истории России XVIII века. По мнению автора статьи, образцом для поэта послужил труд Карамзина “История государства Российского”, в котором изложение было прервано на хронологической границе начала XVII века.

The paper is an attempt at a reconstruction of one of Pushkin's projects that remained unrealized. The poet conceived it on the model of “The History of the Russian State” by Karamzin who brought it up to the beginning of the 17th century.

Ключевые слова: Карамзин, записка, история, Россия, Петр I, пугачевщина, историограф, И.И. Голиков, замысел.

Key words: Karamzin, relation, history, Russia, Peter I, Pugachov's revolt, historiographer, I.I. Golikov, project.

Перо историографа Пушкин, как известно, прочно взял в руки только в последние годы своей жизни. Но о прошлом России, о её историческом пути он размышлял много и плодотворно гораздо раньше. Автор “Бориса Годунова” и внимательный читатель средневековых хроник, он ещё в двадцатые годы отмечал “трогательное добродушие древних летописцев, столь живо постигнутое Карамзиным и отраженное в его бессмертном создании” [1, т. 11, с. 68]. Речь, понятно, шла о карамзинской “Истории государства Российского”.

Усилия Пушкина-историка неоднократно служили поводом для исследований, для критики. Полемика вокруг “Истории пугачевского бунта” началась ещё при жизни поэта, а суждения о рукописи “Истории Петра” П.В. Анненков высказывал ещё в своих “Материалах для биографии Пушкина” (1855). Полтора века, прошедшие с тех пор, сильно и разносторонне обогатили наши знания о том, как поэт постигал историю, как выражал свои взгляды на прошлое – в стихах, в художественной и документальной прозе.

Вместе с тем, хождение Пушкина вослед Карамзину столь многогранно, так насыщено оттенками историко-художественных смыслов, что оставляет много возможностей для дальнейшего изучения. Замыслы поэта в области исторических сочинений оказываются неизмеримо обширнее того, что он успел выразить в своих произведениях. Русский восемнадцатый век вставал перед ним во всех своих острейших противоречиях, со всеми своими взлётами и падениями общественной мысли, с его очевидной

актуальностью по отношению к веку текущему, девятнадцатому. “Революция” Петра I и реформы Екатерины II, народные восстания Булавина и Пугачева, войны России, наука и словесность, начатые Ломоносовым, придворные интриги – всё волновало Пушкина, всё требовало изучения, истолкования.

I.

16 сентября 1827 г. в сельце Михайловском Пушкина навестил приятель, питомец Дерптского университета Алексей Николаевич Вульф. Беседы хозяина и гостя были весьма продолжительны и на редкость содержательны, о чём свидетельствует дневник Вульфа. В них часто упоминались Карамзин, а также события и люди истекшего столетия.

Вот одна из дневниковых записей Вульфа: «Играя на бильярде, сказал Пушкин: “Удивляюсь, как мог Карамзин написать так сухо первые части своей “Истории”, говоря об Игоре, Святославе. Это героический период нашей истории. Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову – пером Курбского. Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уж можно писать и царствование Николая, и об 14 декабря”» [2, с. 416].

Дневниковая запись сделана сразу после беседы или недолгое время спустя – так что на достоверность сообщаемых сведений можно полагаться. Они служат отправной точкой для дальнейших соображений. В лаконичном сообщении

Вульфа, кажется, проступают контуры некоего творческого замысла, овладевшего Пушкиным к осени 1827 года. Какого замысла? Краткость свидетельства “дерптского студента” не даёт возможности судить об этом детально и с полной уверенностью. Но совершенно очевидны два обстоятельства. Во-первых, замысел касается материала отечественной истории и носит характер скорее документального повествования, чем художественного вымысла. Во-вторых, образцом, точкой отсчёта для Пушкина служит Карамзин, “История государства Российского” – несмотря на критический выпад против начальных частей его многотомного труда.

Соперничество с Карамзиным идёт по двум основным линиям – научной и художественной. Пушкин ещё не испытал своих способностей в собирании и осмыслении исторических источников, в построении историко-философских систем. Поэтому критика Карамзина и его версии правлений Игоря и Святослава находятся в чисто художественном русле – “сухо”! Пушкин догадывается, что в области создания исторических характеров и занимательности изложения он сильнее покойного историографа – ещё одно свидетельство того, что историческая наука и художественная словесность в то время не полностью отделены одна от другой. “Сухо” – значит здесь протокольно, нехудожественно. Когда семь лет спустя Жуковский упрекнул младшего друга в том, что его письма к императору об отставке “сухи”, Пушкин раздраженно ответит: “Да зачем же им быть сопливыми?” [1, т. 15, с. 176]. Тем самым он ещё раз подтвердит, что сухость прилична только служебному документу, официальному или деловому обращению. А история народа всё-таки принадлежит *поэту*.

Запись Вульфа необходимо хотя бы в общих чертах соотнести с той историографической ситуацией, которая тогда складывалась на материале русской истории. Карамзину удалось довести свой основной труд только до начала XVII века, до “смутного времени” и воцарения династии Романовых. В.Н. Татищев обращался и к последующим временам, однако, пятая книга его “Истории Российской”, захватывающая материал XVII века, запоздало выйдет лишь в 1848 г., то есть, уже после смерти Пушкина. Кое-какие факты и суждения о предпетровской эпохе Пушкин мог черпать из многотомного труда И.И. Голикова “История Петра Великого, мудрого преобразителя России”, в котором есть раздел “Изображение предшествующих времён Петру Великому” [3, с. 113–118]. Основной текст Голикова и дополнения к нему отражали, главным образом, только

первую четверть XVIII века, т.е. годы правления Петра I. Критические суждения об истекшем столетии содержались в потаенных сочинениях – в записке Карамзина “О древней и новой России” и в полумемуарном трактате князя М.М. Щербатова “О повреждении нравов в России”.

Предпетровские десятилетия и весь русский XVIII век представляли собой почти непаханую историографическую целину, давно занимавшую Пушкина. Парадокс заключался, например, в том, что о времени Петра I и императриц гораздо больше и подробнее можно было прочесть в ученых сочинениях на иностранных языках, чем на русском.

Еще в кишиневской ссылке Пушкин набрасывает <“Заметки по русской истории XVIII века”> (1822), которые хронологически начинаются 1725 годом: “По смерти Петра I...” [1, т. 11, с. 14]. Пушкин “подхватывал” историческую канву именно там, где ее оставил Голиков. Но соотнесение этих <“Заметок...”> с замыслом, изложенным Вульфу, представляет очевидные трудности – пять или шесть лет в жизни и творчестве Пушкина (1822–1827) есть огромный срок; в течение этого времени и сам замысел, и его конкретное наполнение могли измениться коренным образом.

Отметим: об истории царствования Петра I и Александра I Пушкин (в пересказе Вульфа) говорит: “Я непременно напишу...”. События 14 декабря и правление Николая I обозначены иначе: о них “теперь уже можно писать”. Тем самым хронологически более отдалённые эпохи – от начала XVIII века до начала XIX века – в планах Пушкина-историка, видимо, стоят на первом месте. А современность, сложившаяся с воцарением Николая I, отнесена на более далекую творческую перспективу. Может быть, об этой работе Пушкин вообще всерьёз не задумывался: царствование Николая Павловича продолжается, многие обстоятельства и их оценки могут решительно меняться; поэтому сосредоточение на столетии, отделяющем Петра Великого от Александра, выглядит для Пушкина-историка более логичным и естественным.

Тут необходимо оговориться. Мы обсуждаем пушкинский замысел “Истории Петра I” в том виде, в каком он складывался во второй половине двадцатых годов. Значит, это еще вольный замысел, не отягченный царским вмешательством, государственной службой, недоброжелательным вниманием света. Речь идет о труде, для которого пока “условий нет”. В свободном сознании поэта живет образ великого монарха, свершителя

славных дел, образ прекрасный, ничем не затуманенный. Лучшее тому свидетельство – начатая повесть о царском арапе, где Петр I предстаёт мудрым государем, истинным отцом отечества. Разочарование настигнет поэта-историка позже, ближе к середине тридцатых годов [4, с. 392–421].

Совсем другой подход к царствованию Александра I. Стихотворные строки о “владыке слабым и лукавом” еще не легли на бумагу, но свидетельств острой неприязни к нему Пушкина вполне достаточно (см., например: [5, с. 5]). Обещание написать историю Александра Павловича “пером Курбского”, обращенное к Вульфу, имеет совершенно ясный подтекст. В воспоминаниях, записанных М.И. Семевским, Вульф рассказывает о своих дружеских связях с Пушкиным в конце царствования Александра I: “К этому <...> времени относится одна наша с Пушкиным затея. Пушкин, не надеясь получить в скором времени права свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу. Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах; к счастью, судьбе угодно было устроить Пушкина так, что в сентябре 1826 года он получил, и притом совершенно оригинально, вожаемую свободу” [6, с. 414].

Теперь, ровно через год после обретения этой “свободы”, у Пушкина в беседе с Вульфом возникает мотив из недавнего прошлого. Если бы фантастический план маскарадного побега осуществился, Пушкин оказался бы в положении князя Андрея Михайловича Курбского, в 1564 г. бежавшего за границу. Сходство положений довершалось и тем, что Вульф ехал в чужие края из Дерпта. Как раз оттуда, из Дерпта, Курбский и совершил свой побег. Нетрудно представить себе, как Пушкин в воображении ставил себя на место опального князя и в своей “Александровой истории” предвидел публицистический пафос, идейное продолжение обличительных посланий беглеца к царю Ивану.

Одной из важнейших сторон карамзинского “подвига честного человека” было, по Пушкину, то, что он, Карамзин, писал свой труд в России, то есть там, где этому явно противостояли все условия государственной жизни и многие особенности общественного сознания. Можно еще заметить, как поэт легко обходится с жанровыми осо-

бенностями социально-исторических сочинений. Свою “Историю Александрову” он намеревается писать по образцу ядовитых писем князя Андрея к царю Ивану, не соображаясь с тем, как разнятся цели и средства публицистической критики и исторического исследования. Пушкин, кажется, не принимает в расчёт, что Курбский вовсе не пишет историю царствования Ивана Грозного. Князь полностью сосредоточен на разоблачении царя и его политики, на доказательстве его отступничества от веры, от отечественных традиций.

Дневник Вульфа ставит много вопросов, но не даёт материала для их решения. Например, ясно, что Пушкин “непременно” собирается писать две истории – Петрову и Александрову. Но в каком отношении друг к другу находятся эти два замыслаемых труда? Идёт ли речь о двух независимых работах, которые мы сегодня назвали бы монографическими? Или о единой, фундаментальной истории России XVIII–XIX вв., где исходной точкой служат усилия Петра-революционера, а итогом “дни Александровы” с их ведомыми чередованиями света и тени? Этот же вопрос можно поставить и иначе. Хотел ли Пушкин в 1827 г. давать историческую картину отечества за целое столетие – с 1725 по 1825 г.? Включал ли его замысел времени императриц и Павла I?

Беседе с дерптским студентом вообще не следовало бы придавать столь серьезного значения, если б к этому не влекли достоверно известные факты пушкинского творчества и биографии. В этих фактах много случайного, непредсказуемого. Но основной мотив прогноза – “я непременно напишу историю” – безусловно серьезен.

II.

Между осенью 1827 и осенью 1831 годов – ровно четыре года, которые дают сравнительно немного поводов для обсуждения намерений Пушкина-историка. Прошлое России занимает скорее художника, поэта. Начат и оставлен роман о царском арапе, завершена “Полтава”, написаны онегинскими строфами “декабристские” хроники, явный исторический привкус имеют некоторые лирические стихотворения. Никакого систематического труда в области собственно историографии, кажется, нет. Стихи и художественная проза – естественные формы, в которые отливаются исторические взгляды автора.

Решительную попытку поворота к иным формам Пушкин предпринимает в 1831 г. Обстоятельства лета и осени того года, сопутствовавшие коренной перемене участи поэта, хорошо извест-

ны. Позади годы странствий, расставание с “Евгением Онегиным”, с холостой жизнью; к будущей весне в семье Пушкиных ожидается прибавление. Обыкновенные житейские заботы требуют все больше внимания и усилий. Между тем светское общество – подчас даже близкие знакомцы – не понимает нового положения, новой жизненной позиции, в которой находится поэт. Для многих приятелей он по-прежнему остается легким остроумцем, кумиром уездных барышень и беззаботных молодых людей.

В прозаическом отрывке “Не смотря на великие преимущества...” и позже, в “Египетских ночах”, Пушкин оставил чуть завуалированное художественно свое раздражение петербургским светом: “Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклёймён и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность: по ее мнению он рожден для ее пользы и удовольствия [1, т. 8, с. 263]. Желание сбросить с себя стихотворческое титуло, конечно, постоянно посещало Пушкина.

Занятия историографией, начатые вослед почтенному Карамзину, могли среди прочего помочь изменить общественное положение, обрести новые “звание и прозвище”.

В том же направлении вели Пушкина и политические обстоятельства времени. Еще до того, как Пушкин в Михайловском беседовал с Вульфом, на русской политической сцене произошли важные, но мало кому известные события. Государь Николай Павлович повелел образовать “Секретный комитет 6 декабря” (название – по дате создания – 1826 г.) и возложил на него подготовку широких либеральных реформ, клонящих к ослаблению крепостного права, ограничению власти чиновников, точному законодательному определению прав и обязанностей сословий, развитию просвещения и т.д. Пушкин знал о готовящихся преобразованиях, ждал и заранее приветствовал их. Но на пути реформ стояли многие препятствия. Старший брат государя, великий князь Константин Павлович, резко выступал с критикой проектов нововведений. Июльская революция 1830 г. во Франции и восстание патриотов в Польше в 1830–1831 гг. поколебали и Николая I. Судьба реформ, что называется, повисла на волоске (см.: [4, с. 202–206]). Пушкин все это остро переживал, но питал иллюзию, будто быстрое подавление поляков вернет государя на путь реформ. Наоборот, думал он, промедление в усмирении Польши грозит интервенцией западных держав. Холерная эпидемия, охватившая

многие русские губернии, усиливала тревогу. В 1831 г. поэт беседовал с графом Е.Е. Комаровским и, между прочим, сказал ему: “Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году?” [7, с. 168].

Едва ли не впервые в жизни поэт задумался: прав ли он, пренебрегая государственной службой? Пренебрегая не вообще, а именно сейчас, сегодня, в сложившихся общественных и личных обстоятельствах? Всё склонялось к тому, что государь и государство шли правильным путем, и в их правоте содержался очевидный для старинного дворянина вызов. Этот мотив громко звучит в пушкинских письмах той поры: вчерашнего вольнодумца и фрондера тяготит бездействие; ему надоело неуважение, с которым люди его круга относятся к званию стихотворца и к светскому положению его жены, Натальи Николаевны. На эту тему можно было бы сделать весьма показательную подборку из писем Пушкина. Но мы ограничимся только одним письмом – к П.А. Вяземскому от 16 марта 1830 г.: “Государь уезжая оставил в Москве проект новой организации, контр-революции Революции Петра. Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле Европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые правила мещан и крепостных – вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу” [1, т. 14, с. 69].

Чуть позже Пушкин скажет еще проще и прямее. В письме, адресованном А.Х. Бенкендорфу в июле 1831 г., он подведет итог своим размышлениям: “Заботливость истинно-отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно моё бездействие <...>. Если государю императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностию и усердием исполнять волю его величества и готов служить ему по мере моих способностей” [1, т. 12, с. 256].

Понятно: задумываясь о возможностях служения на пользу правительству, Пушкин не собирается возвращаться в канцелярию, из которой семь лет тому назад был уволен своим тогдашним начальником, графом М.С. Воронцовым. Но служить государю своим пером, своим талантом – отчего ж нет? Это потом, несколько лет спустя, Пушкин будет проклипать день, в который он дал опутать себя условиями государственной службы. Это потом он будет страшно угнетен сочинением “Истории Петра”, будет стараться не попадаться на глаза августейшему заказчику, императору

Николаю Павловичу. Это, повторяем, потом. А пока, летом 1831 г., Александр Сергеевич мирно живет с молодой женой в Царском Селе, пишет сказки, переживает холерную эпидемию. При дворе существует некий негласный кружок друзей Пушкина (в него наверняка входят В.А. Жуковский и фрейлина А.О. Россет). Друзья знают о желании поэта вступить в службу и озабочены тем, как посвятить императора в планы поэта и получить благоприятное решение. Они даже приискали на выбор две должности – вот, например, политический писатель при правительстве (что-то вроде пресс-секретаря?) или место придворного историографа, пустующее после смерти Карамзина [8, с. 253–255]. Пушкин, видимо, предпочел карамзинскую должность – историографа.

Нормальный бюрократический ход дела был бы прост: царь призывает Пушкина к себе во дворец и жалует придворным историографом. Монаршее решение для отставного чиновника обязательно – он возвращается в службу в той должности и в том чине, которые присваивает ему монарх. Но в данном случае Николай I проявляет прекрасное понимание обстоятельств и большой такт. Он знает, что его, царя, предложение (просьба?) в официальной обстановке есть приказ. И не хочет командовать поэтом. С другой стороны, ведь и Пушкину неудобно просить у царя место Карамзина, одного из самых уважаемых вельмож прежнего царствования. Выход находится весьма неожиданный: Николай Павлович, летним утром прогуливаясь с императрицей по царскосельскому парку, якобы случайно встречает в одной из аллей другую гуляющую чету – Пушкина с женой. Тут-то, на садовой дорожке, и состоялся разговор, повернувший судьбу Пушкина в иную сторону. Отныне он взят в службу и пишет официальную “Историю Петра Великого” [9, с. 571, 573].

Царское поручение переменяло участь Пушкина. Нетрудно догадаться, что оно не осталось нейтральным прежде всего к замыслу, о котором в 1827 г. услышал Вульф. То, что еще вчера было предметом свободных размышлений, сегодня становится заданием чиновнику, обретает официальные контуры: сроки исполнения, объемы рукописи, жалование, продолжительные сидения над книгами и архивными бумагами. Всё это – путь к личной катастрофе, прослеженный нами в другой работе [10, с. 7–41]. Здесь же отметим – служебная переписка вокруг монаршего задания поэту дает возможность хотя бы отчасти ответить на поставленный уже вопрос о контурах исторического замысла, обрисованного Вульфу четыре года назад в Михайловском.

В один из июльских дней 1831 г. Пушкин обращается к А.Х. Бенкендорфу с письмом, предназначенным, конечно, императору, в котором предлагает варианты конкретного содержания своей службы. Последний абзац послания сформулирован следующим образом: “Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее моё желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III” [1, т. 14, с. 256].

Значит, *давнишнее*, то есть еще дослужебное, *желание* Пушкина не ограничивалось хронологическими рамками правления Петра Великого (по 1725 год). Замысел, как минимум, простирался до воцарения императора Петра III – до 1761 года. Следовательно, внимание Пушкина-историка распространялось на царствования Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Ивана VI, Елизаветы Петровны.

Тот же самый мотив, мотив соотношения царствования Петра I с правлением “ничтожных наследников северного исполина”, встречаем и в <“Заметках по русской истории XVIII века”>. Выходит, давно, еще в разговоре с Вульфом, Пушкин предполагал не просто писать историю царствований Петра I и Александра I, но мысленно как-то заполнял в своей работе пробел между ними, равный трем четвертям века (1725–1801). Во всяком случае, о первых десятилетиях после Петра это можно сказать теперь уверенно.

Упомянув в письме к Бенкендорфу свое давнишнее желание – написать не только историю первого императора всероссийского, но и его наследников, – Пушкин обозначает некую важную пограничную ситуацию. Его, Пушкина, вольный замысел простирается от Петра I на много десятилетий в глубь XVIII века. Но как это будет воспринято властью? Позволят ли продолжать исторический труд за пределы петровской эпохи? Скажем прямо: поэт наивен, страдает “простодушием гениев” и не сильно искушен в ремесле, за которое берется. В июле 1831 г. ему кажется, что в обозримом будущем он завершит сочинение о Петре I и двинется дальше, к увлекательным и противоречивым временам императриц. Власть в этом случае оказывается опытнее и дальновиднее поэта. Она не откликается на его предложение продолжать труд, который даже еще не начал; во всяком случае, о реальном приступе Пушкина к такому историческому сочинению нет никаких

следов в известных нам источниках. И даже в более поздние времена такие следы не обнаруживаются. Почему? Видимо, во-первых, потому, что государя Николая Павловича времена императриц не особенно занимали. Во-вторых, потому, что официально историку пришлось бы прикасаться своим пером к сравнительно близкому прошлому, к “новой аристократии”, плотно стоящей у трона сейчас, сегодня. От этого могли возникнуть неудобства, способные насторожить средне-грамотного в обхождении царедворца. Но – не Пушкина.

Поэт брался за работу, которую пять лет спустя назовет “убийственной”.

III.

Давно, еще в пору кишиневского изгнания, молодой Пушкин за какую-то провинность был посажен под арест. Тут его навестил сослуживец, князь Павел Иванович Долгоруков. В свой дневник князь Павел занес впечатления о визите к арестанту: «Несмотря на свое заточение, Пушкин мне не завидует. Он сказал мне на счет моих беспрерывных занятий: *“Я предпочёл бы остаться запертым на всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться”*» [11, с. 357].

Эту особенность характера поэта князь Долгоруков уловил верно. Она проявлялась и в следующем десятилетии. Но теперь по службе следовало не просто отчитываться, а постоянно держать ответ перед императором. Для Пушкина неотступное внимание монарха к его занятиям довольно скоро стало тягостным, а потом и несносным. Положение решительно ухудшалось и тем, что медленная и кропотливая работа над источниками – архивными и печатными – оказалась Пушкину не по нутру. В отличие от Карамзина, он не смог переменить свой образ жизни и на долгие годы запереть себя в учёном кабинете.

В нашу задачу не входит изучение всех причин, по которым параллельно с “Историей Петра” Пушкин берется сочинять “Историю Пугачева”. В ряду таких причин, видимо, были свобода, незаданность, если угодно, неподотчетность предпринимаемого труда. Кажется, можно понять, с какой охотой поэт откладывает официально заданную рукопись и обращается к другой, составляющей область его собственных, никому неподконтрольных усилий.

Результат очевиден. Через два года исторических занятий “История Петра” безнадежно

застревает на стадии бесконечного скопления материалов, а совершенно готовая рукопись “Истории Пугачева” лежит на письменном столе. Автор может быть удовлетворен. Если не царю и светскому обществу, то уж по крайней мере себе самому он доказал свою состоятельность как историографа. Кроме того, он может рассматривать завершённый труд как актуальное предупреждение своему сословию: вот что ждет нас при безумном расширении вольности дворянской, при укреплении власти помещиков над крепостными, при пренебрежении правами и интересами “черного народа”.

Осень 1833 г. застает Пушкина в поездке по Уралу и Поволжью. В ноябре поэт в родовом имении Болдине. На этот раз осеннее заточение – добровольное, но тоже, как и раньше, служит обширным творческим интересам писателя. “Медный всадник”, “Пиковая дама”, “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Анджело”, “История Пугачева” и другие произведения обретают ясные очертания в деревенской тишине.

2 ноября Пушкин сочиняет предисловие к завершённой, видимо, “Истории Пугачёва”. Вот что читаем мы в первом же абзаце этого предисловия: “Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано всё, что было обнаружено правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Так же имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельствами живых” [1, т. 9, с. 1].

Приведенное начало предисловия сразу же напоминает и о беседе с Вульфом в 1827 г., и о письме к Бенкендорфу летом 1831 г. В самом деле: если рекомендуемый автором труд есть лишь *отрывок*, то как должно было выглядеть и строиться гипотетическое *целое*? В “Истории Пугачева” даже без приложений восемь весьма объемных глав, и нелегко представить себе некий столь обширный корпус связного текста, в который все эти главы входили бы на правах всего только *части* какого-то труда, пусть даже и оставленного. Если верить здесь Пушкину (или вообще “простодушью гениев”), то единственным правдоподобным объяснением будет примерно такое: *в написанной им “Истории Пугачева” Пушкин видел часть той истории России XVIII века, которую предполагал написать и для которой искал материалы.*

Проверим себя.

Предисловие написано в расчете на читателя, на возможность публикации. Совершенно ясно,

что рукопись придется предъявлять правительству, царю. И не только потому, что государь взял на себя роль пушкинского цензора. Сюжет, избранный Пушкиным, подпадает под действие повеления Екатерины II – “всё дело предать вечному забвению” [1, т. 9, с. 81]. По этой и многим другим причинам, в которые мы здесь не входим, разрешить напечатать рукопись мог только царь.

Набрасывая осенью 1833 г. варианты краткого предисловия, Пушкин должен был мысленно примерять текст к восприятию августейшего читателя. Тут автора ждала полная неизвестность. Одобрит или не одобрит? А если одобрит, то разрешит ли печатать? События могли принять и совсем худой оборот: “вымоют голову”, как это случилось после записки о народном воспитании. Поэтому выражения, в которых Пушкин составляет предисловие, весьма обдуманы и осторожны. Исторический труд о русском XVIII веке, скорее только задуманный, чем начатый, Пушкин называет *оставленным*.

Расчет, кажется, понятен. У императора не должно сложиться впечатление, будто его историограф занимается всей этой пугачевщиной в ущерб работе над правительственным заказом – “Историей Петра”. Подразумевается иная картина его творческих усилий, *вымышленная*. Вот примерно черты этой явно фантастической картины. Когда-то давно, еще до вступления в службу, Пушкин замыслил и писал нечто историческое, оставленное им в 1831 г., а может быть, даже и раньше. Теперь, по прошествии времени, автор обращается к его величеству по поводу законченного отрывка из старого, незаконченного сочинения – нельзя ль напечатать? Сочинение писано в строго монархическом духе. Но если в нем отыщутся суждения, противоречащие видам правительства, то можно будет сослаться на давность сочинения, на близость его по времени к молодым заблуждениям автора, уже прощенным государем. Близкая аналогия: в своих показаниях по делу о “Гавриилиаде” Пушкин относит крамольную поэму к 1815–1816 гг., то есть делает ее на семь–восемь лет старше, чем в действительности [12, т. 10, с. 496].

Все это, повторяем, вымышленная картина. Теперь – что происходит в действительности.

Разбираемое предисловие к “Истории Пугачева”, мы помним, написано в Болдине и помечено: *2 ноября 1833 года*. Месяцем раньше, по дороге в свою деревню, Пушкин останавливается в имении Языково Симбирской губернии и проводит сутки в гостях у приятелей, братьев Языковых [13, т. 4,

с. 97]. О разговорах, которые велись в кругу друзей, мы узнаем из письма от 3 октября, посланного Н.М. Языковым историку Н.М. Погодину: “У нас был Пушкин – с Яика – собирал-де сказания о Пугачеве – много-де собрал по его словам разумеется. Заметно, что он вторгается в область Истории – (для стихов еще бы туда и сюда) собирается собирать плоды с поля, на коем он ни зерна не посеял – писать историю Петра, Ек<атерины> 1-ой, и далее вплоть до Павла первого (между нами)” [14, с. 715]. Языков, как видим, не сочувственно относится к планам Пушкина-историка. Тем ценнее его, Языкова, свидетельство.

Два года назад в письме к Бенкендорфу Пушкин осторожно обозначил свои историографические претензии – “написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III”. Теперь же, в вольной беседе с друзьями, он обозначает свои желания гораздо шире: сочинение должно простираться от времени Петра I до времени Павла I. Что это значит? Это значит, что взявшись за официальное задание – писать о первом императоре, – Пушкин вовсе не оставил первоначального замысла и собирается сочинять историю русского XVIII века.

Пушкин едет из Оренбурга в Болдино, и в его экипаже лежит почти готовая рукопись о пугачевском бунте, точно соответствующая тому замыслу, которым (“между нами”) он делится с Языковыми. Эпизод екатерининских времен как раз и происходит “до Павла первого”. Тем самым, раскрывая “Историю Пугачёва”, мы и сегодня читаем не просто страницы монографии, а фрагмент (отрывок?) из пушкинской <“Истории России XVIII века”>. Трудно, невозможно представить себе, что Пушкин в этой своей «Большой Истории», обращаясь к екатерининским десятилетиям, переписал бы эпизод пугачёвщины заново. Или – что уж и совсем невероятно – обошел бы его стороной.

Присмотримся внимательно ещё раз к обстоятельствам осени 1833 г., к тем сложностям и противоречиям, которыми в это время отличаются исторические замыслы и труды Пушкина. Общим фоном, отравляющим всю жизнь поэта, несомненно, является служебная, официально заданная “История Петра”. За два с лишним года, прошедших от беседы с государем в Царскосельском парке, эта работа почти не сдвинулась с места. Ничего еще не написано. Призрак державного исполина преследует не только героя петербургской поэмы Евгения, но, конечно, посещает в ночных болдинских кошмарах и самого автора: “И во всю ночь безумец бедный, / Куда б стопы

ни обращал, / За ним повсюду всадник медный / С тяжелым топотом скакал” [1, т. 5, с. 148].

Альтернатива подневольному “Петру” – вольная, никем не заданная история послепетровской России. Она и пишется. Приступ к ней, начало – книга о бунте, о Пугачеве.

Тут, по-видимому, должно найти объяснение противоречие, в которое впадает Пушкин. Языковым он с замечательным простодушием говорит о той русской истории XVIII в. после Петра, которую собирается писать и даже уже пишет (“Пугачев”). А через месяц в тексте предисловия, обращенном к официальным инстанциям и публике, он сообщает нечто совершенно иное: обширный труд (об истории отечества?) был задуман и оставлен – вот отрывок, этому труду принадлежавший. В Языкове как бы один Пушкин, а в Болдине – другой. Проходят всего четыре-пять недель, и версия исторических занятий совершенно изменяется. Что же произошло с Пушкиным в октябре 1833 года?

Ничего, конечно, не произошло. Противоречие явное; оно коренится в самих условиях русской действительности, в обстоятельствах жизни Пушкина. Двоемыслие, способность носить маску, должны отличать всякого, кто живет в свете, а особенно в петербургском свете. В сущности, нет ничего удивительного в том, что поэт в деревне, в приятельском кругу, чувствует себя свободным. Искренне и без оглядки делится он своими планами. Нужды нет, что планы эти плохо совместимы или даже вовсе не совместимы с ожиданиями царя и условиями государственной службы. У дружеской беседы свои резоны, своя логика. О Петербурге на час-другой можно и забыть. Совсем другое дело – подготовка рукописи “Истории Пугачева” для царя и для печати. Тут, наоборот, забыть приходится об обширном вольном замысле, призванном продолжить великий труд Карамзина. Еще не начавшись, эта история по необходимости оставлена.

Пример такого двоемыслия – и как раз на материале занятий историей – указала у Пушкина А.А. Ахматова. В цитированном уже летнем (1831) письме к Бенкендорфу она остановила свое внимание на какой-то не по-пушкински робкой фразе просителя: “Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина”. Ахматова уверенно возражала: “И смел, и желал”. Свое понимание она излагала так: “В биографии Пушкина этот вопрос имеет очень серьезное значение. 30-е годы для Пушкина – это эпоха поисков социального положения. С одной стороны, он пытается стать профессио-

нальным литератором, с другой – осмыслить себя как представителя родовой аристократии. Звание историографа должно было разрешить это противоречие. Для Пушкина это звание неотделимо было от судьбы Карамзина – советника царя, вельможи, достигшего высшего придворного положения своими историческими трудами” [15, с. 33–34].

Заметим и еще одно попутное обстоятельство. Первая фраза предисловия к “Истории Пугачева” – об отрывке, составлявшем часть оставленного труда – вызвал полемическое противостояние Ю.Г. Оксмана профессору Н.Н. Фирсову. Последний совершенно безосновательно утверждал, будто реальный “отрывок” принадлежал оставленной Пушкиным биографии А.В. Суворова, к написанию которой поэт и не приступал. Возражая Фирсову, Ю.Г. Оксман приводит неожиданный аргумент: текст первой фразы предисловия, якобы, искажен. Следует читать – часть труда, мною *составленного* [16, с. 444–446]. Но Пушкин, конечно, отличал труд сочинительский от труда составительского. Кроме того, прочтение *оставленного* сегодня можно считать общепринятым [17].

Подведём некоторые итоги.

Замысел – написать историю русского XVIII века – возникает у Пушкина не позднее осени 1827 г. Вплоть до начала 30-х годов он остается для Пушкина актуальным, но не облекается в сколько-нибудь связные и законченные тексты. В 1831 г. поэт взят в службу и работает над “Историей Петра” по личному заданию императора. Не позднее начала 1833 г. параллельно с официальной “Историей Петра” поэт приступает к созданию “Истории Пугачева”. Это сочинение, не будучи ограничено никаким служебным заданием, по-видимому, мыслилось Пушкиным не только как монография, но как часть задуманной ранее <“Истории России XVIII века”>.

IV.

От поездки поэта на Урал и в Болдино пройдет три с лишним года. В результате посмертного обыска в доме на Мойке весьма обширная рукопись Пушкина о Петре Великом будет доставлена государю Николаю Павловичу. Августейший заказчик пожелает узнать, как ныне покойный камер-юнкер Пушкин выполнил царское задание? Можно ль печатать его сочинение? И такую возможность царь предусматривал. Видимо, он не испытывал ни неприязни, ни предубеждений к Пушкину.

Но рукопись ему не понравилась. Резолюция государя не оставляет в том никаких сомнений: “Сия рукопись издана быть не может по причине неприличных выражений на счет Петра Великого” [18, с. 15]. Николай Павлович по-своему был прав. Он насаждал и поддерживал культ Петра, утверждал себя в качестве наследника и продолжателя великих дел первого императора. А Пушкин позволял себе не одни только “неприличные выражения”. Его перо касалось многих темных сторон правления Петра I – массовых казней и пыток, отвратительных подробностей дела царевича Алексея Петровича, нарушений монаршего слова, взяточничества, интриг, пьянства при дворе и т.д.

Однако, отвечая на вопрос – *почему нельзя печатать?* – царь проявил себя только как цензор, а не как знаток самого предмета. Николаю Павловичу, видимо, не удалось понять, что он читал не оригинальный пушкинский текст, а всего только подробный конспект “Деяний Петра Великого, мудрого преобразителя России”, еще в XVIII веке сочиненных И.И. Голиковым. Между тем, по свидетельству А.О. Смирновой-Россет, царь прекрасно, чуть не наизусть, – знал многотомного Голикова [9, с. 199]. И мог бы выявить едва ли не полное содержательное совпадение “Пушкина” с Голиковым [19, с. 52–55].

В дальнейшем подробность и связность конспекта будут вводить в заблуждение многих исследователей и читателей, полагающих, будто в своей “Истории Петра” Пушкин продвинулся очень далеко и был почти накануне завершения труда. По-видимому, самый вопрос стоит в другой плоскости. Если на протяжении многих лет Пушкин параллельно занят *двумя* историями – официальной и неофициальной – то след двойственности можно найти в самых разных его приобщениях к прошлому. Ситуация сильно осложняется тем, что материал обеих историй, фабульная их канва – одни и те же.

Что с этой точки зрения есть “История Петра” – конспект голиковского труда? Ответ прост: освоение большого корпуса фактического материала для благонамеренной, культовой истории, составляемой в державном русле. Но параллельно, на тех же самых страницах конспекта, Пушкин делает замечания совсем другого рода, рассчитанные на использование в ином, никому не подконтрольном контексте [20, с. 476–512]. Государь Николай Павлович не различает таких тонкостей – не царское это дело. Он просто полагает прочитанную (просмотренную?) рукопись написанной Пушкиным, но не до конца обработанной

биографией Петра – от рождения монарха до его кончины. И с государственной точки зрения совершенно обоснованно запрещает эту рукопись печатать. Она будет опубликована почти полностью – за вычетом несохранившихся страниц – только в XX столетии [1, т. 10].

Тем самым следование Пушкина за Карамзиным в сочинении истории отечества прервалось на ранней стадии, в сущности, еще не позволяющей глубоко судить о масштабах и характере задуманного труда. Если принять историографическую версию, выраженную в письме Языкова к Погодину (1833), то Пушкин, как мы помним, собирался писать историю русского XVIII века – от Петра I до Павла I. В наследии Пушкина-историка к этому промежутку исторического времени относятся <“Заметки по русской истории XVIII века”>, “История Пугачева” и “История Петра”, а также некоторые мелкие заметки, отрывки из дневников, писем, анекдоты и т.д.

<“Заметки по русской истории XVIII века”> для понимания замысла 1827–1833 годов скорее всего не следует принимать в расчет прямо, так как они написаны молодым Пушкиным, носителем либеральных воззрений. Его взгляды, близкие к декабристским, уже на исходе. Но от Карамзина поэт пока еще далек. Программное стихотворение “Свободы сеятель пустынный...”, в котором слышится разочарование в освободительном движении, еще не написано. Карамзин высоко почитаем, но в это время не служит образцом, идейным вдохновителем для Пушкина.

Обращение к конспекту голиковских “Деяний...”, датируемому серединой 30-х годов, тоже лишь в малой степени дает возможность судить о пушкинской истории XVIII в., намечать ее контуры. Несомненно, тут значимы многие попутные замечания Пушкина, его острые максимы, лексические отклонения от оригинала. Но всё же в основе здесь то, что Пушкин иронически назвал “голиковской прозой” [1, т. 13, с. 244], никак не сравнимой, конечно, с прозой Карамзина.

Таким образом, ближайшим реальным соответствием истории, воображаемой Пушкиным (и едва ли не единственным соответствием), выступает “История Пугачева”. В нашу задачу не входит подробный содержательный анализ законченного исторического труда поэта, но, в попытке как-то очертить обширный замысел Пушкина, именно эта книга первостепенно важна.

Задумав продолжать карамзинскую историю России на материале XVIII века, Пушкин видел в перспективе, несомненно, многотомное сочинение. Одна только вступительная “История Петра”

должна была включать в себя несколько книг. След этого многотомного замысла нетрудно разглядеть в письмах 1834 г. к Н.Н. Пушкиной: “Ты спрашиваешь меня о Петре? идет помаленьку, скопляю материалы – привожу в порядок – и вдруг вылью медный памятник, который нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок”. И далее: “Петр 1-ый идёт; того и гляди напечатаю 1-ый том к зиме” [1, т. 15, с. 159]. Конечно, это еще не первый том неофициальной рукописи, но два труда о Петре еще не разведены у автора окончательно. И нет никаких оснований думать, будто потаенный, скрываемый “Петр” короче явного, заказанного государем. Стоя у книжной полки перед двенадцатью томами “Истории...” Карамзина, Пушкин, надо думать, предполагал когда-нибудь увидеть что-то похожее и под своим именем: фундаментальное многотомное сочинение о почти полутора веках, предшествующих “нашему” времени.

Дворянская периодизация Карамзина была построена традиционно – по царствованиям. Видимо, Пушкин перенял бы эти династические понятия у своего предшественника. Во всяком случае, можно не сомневаться в том, что первые книги его труда были бы посвящены Петру I. Следующий хронологический предел Пушкин намечал, видимо, по началу 60-х годов, по правлению Петра III (см.: все то же летнее письмо 1831 г. к Бенкендорфу). Как распределялся в его сознании исторический материал между 1725 и 1762 гг. – сказать не можем. Весьма правдоподобным было бы ожидать отдельных разделов (томов?) для царствований императриц Анны Иоанновны (1730–1740) и Елизаветы Петровны (1741–1761). Правление Екатерины Великой наверняка становилось аргументом для хронологической отдельности, особенности. Нам уже приходилось это заметить, когда речь шла о восстании Пугачева, всего лишь одном, хоть и крупном, эпизоде екатерининского царствования. Наконец, последний период, период самодержавия Павла I (1796–1801) мог заслуживать отдельного раздела (тома?) хотя бы уж по своей очевидной противопоставленности предыдущему царствованию.

Контурь обширного плана просматриваются здесь довольно достоверно. Если, как уже говорилось в начале, “История Пугачева” в двух томах (8 глав и приложения) составили бы всего лишь часть, “отрывок” из екатерининского времени, то сколь протяженной виделась автору история правления великой императрицы в целом? Не знаем, но наверняка период с 1762 по 1796 гг. занял бы несколько томов. В поле зрения Пушкина попада-

ли основные события и происшествия царствования – жалованная грамота дворянству, сословные реформы, реформы местного управления, комиссия об Уложении, победоносные войны России, разделы Польши, смена фаворитов государыни, ее переписка с европейскими мыслителями. Все эти и подобные сюжеты сильно занимали поэта-историографа, что нетрудно было бы показать на материале других его произведений. Но в этом нет надобности. Достаточно будет отметить явную соизмеримость (лучше сказать – соотносимость) пушкинского замысла с основным трудом Карамзина.

“Историю государства Российского” в свои зрелые годы Пушкин почитал сочинением образцовым, достойным подражания. Быть может, поэтому он строит свою пугачевскую (*екатерининскую?*) историю по образцу Карамзина. В “Истории государства Российского” текст, как известно, разделен на основной корпус глав и примечания к главам. В самих главах прослеживается ход событий, обрисовываются характеры исторических лиц, даются общие моральные оценки их деятельности, определяются итоги и перспективы течения истории и т.д. В примечаниях к главам Карамзин ссылается на исторические источники, щедро их цитирует. Именно примечания, “ноты” Карамзина кажутся Пушкину одной из важнейших составляющих карамзинской “Истории...”. Они подводят под сочинение прочный фундамент фактов; в них же, в “нотах”, прошлое говорит своим подлинным голосом, не искаженным в пересказе исследователя.

В этом смысле пушкинская “История Пугачева” есть довольно верный снимок с “Истории государства Российского”. Здесь точно так же к каждой из основных глав подведены примечания, в которых читатель находит цитаты из множества источников, а иногда и документы целиком. Заметим, что для людей XIX века “ноты” Пушкина живее и внятнее “нот” Карамзина – хотя бы потому, что язык XVIII века им ближе, чем архаические речения X–XVII столетий. Заслуживают внимания и три ссылки на Карамзина в примечаниях к главе 1 “Истории Пугачева”, где Пушкин пытается обозначить некоторые вехи ранней истории казачества [1, т. 9, с. 87].

Прослеживая путь Пушкина вослед Карамзину, необходимо отметить еще одно важное соотношение, несомненно, тревожившее сознание автора “Истории Пугачева”. В первые год-два своей историографической службы Пушкин еще мог питать некоторые иллюзии насчет значимости своего звания историографа при императоре.

В этом смысле Карамзин служил исключительно вдохновляющим примером. Государь Александр I часто виделся со своим любимцем, советовался с ним по самому широкому кругу вопросов – от философских и политических до служебных и личных. Когда погожими летними утрами Александр Павлович и Николай Михайлович, неспешно беседуя, прогуливались по Царскосельскому парку, придворные карьеристы остро завидовали положению ученого и вельможи, сочинителя истории и знатока России.

Авторитет Карамзина был непререкаем. Пушкин хорошо помнил, как именно началось возвышение Карамзина. Историограф на основе своих суждений о прошлом подверг острой критике современную политику правительства в своей секретной “Записке о древней и новой России”. Последовало резкое охлаждение к нему со стороны государя. И лишь значительно позже Александр Павлович оценил искренность и правоту своего историографа, приблизил его к себе, ввел в круг самых доверенных лиц.

Не исключено, что некоторые мысленные аналогии в этом роде существовали в сознании Пушкина. Напечатав совершенно благополучную с точки зрения правительства “Историю Пугачевского бунта”, он должен был решить трудный вопрос: как поступить с неподцензурными суждениями и материалами, не вошедшими в книгу? Ситуация требовала от Пушкина карамзинского поступка, *подвига честного человека*. И Пушкин его совершает. Осенью 1834 г. он пишет “Замечания о бунте” – потаенную часть примечаний к пугачевской “Истории...”, предназначенную для царя. Именно там Пушкин прямо сказал о крестьянах, выведенных из терпения жестокостями помещиков [1, т. 9, с. 372], о зверствах правительственных войск, резавших носы и уши восставшим [1, т. 9, с. 373], о «чёрном народе, который был весь “за Пугачева”» [1, т. 9, с. 375], о правительстве, которое “действовало слабо, медленно, ошибочно” [1, т. 9, с. 376] и т.д.

Логика здесь очевидна. Если отвлечься от конкретных подробностей сочинения потаенных текстов, то можно даже попробовать составить некое подобие математической пропорции: “История государства Российского” так относится к “Записке о древней и новой России” как “История Пугачева” к “Замечаниям о бунте”. Однако судьбы секретных записок и их авторов оказываются совершенно несходны. Карамзинская критика задела Александра I за живое, но, в конечном счете, привела к примирению с историографом, к его неслыханному возвышению. Если Пушкин

ожидал чего-то в этом же роде, то его ожидания не сбылись – причем в самой обескураживающей форме. Государь его “Замечаний...”, кажется, просто не заметил; во всяком случае, никаких серьезных последствий ни для государственных дел, ни для камер-юнкера Пушкина царское чтение не повлекло.

К рубежу 1834–1835 гг. Пушкин поневоле должен был понять: при дворе Николая I нет и не может быть карамзинской должности; звание историографа есть пустышка, не наполненная серьезным содержанием.

* * *

Сам по себе интерес Пушкина к русскому XVIII веку очевиден; думается, он здесь не нуждается в подробном и существенном комментарии. Речь ведь идет не вообще о творчестве Пушкина, посвященном ушедшему столетию, не вообще об усилиях Пушкина-историка, а только о поиске следов замысла, существовавшего в сознании поэта со второй половины 20-х годов. Когда осенью 1833 г. Пушкин в Болдине набрасывает предисловие к “Истории Пугачева” и рекомендует ее как “часть труда, мною оставленного”, то, как мы видели, речь идет не о вольном замысле истории XVIII века, а о труде придворного историографа, обсуждавшего в письме к Бенкендорфу будущие сочинения не только о Петре, но и о *его преемниках*.

Творческое сознание почти не поддается изучению, а иногда не поддается и вовсе. Путь от первоначального замысла к воплощению, как правило, не прослеживается или прослеживается в чертах не самых существенных. Поэтому – при всем обилии научной литературы вопроса – мы чаще всего не выявляем, что именно послужило исходной точкой того или иного замысла. Действует дразнящая, но совершенно неоспоримая формула Ахматовой: “Когда б вы знали, из какого сора...”. Список художественных опытов Пушкина на материале XVIII века более чем внушителен. Это в прозе – роман о царском арапе, исторические отступления в “Пиковой даме”, отрывок “В 179* возвращался я...”, план романа “Сын казнённого стрельца...”, “Капитанская дочка”. Это – в поэзии “Отрок”, “Полтава”, “Моя родословная”, вступление к “Медному всаднику”, “Мне жаль великия жены...”, “Чу, пушки грянули!..”, “Пир Петра Первого” и др. Не исключаем, что в состав того “сора”, из которого всё это выросло, входили и материалы, собранные Пушкиным для истории русского XVIII века.

Если так, то придется признать: источники, к которым обращался Пушкин-историк, послужи-

ли не только его ученым занятиям, но, конечно, стали побудительными мотивами для поэзии и художественной прозы. Пример “Истории Пугачева” и “Капитанской дочки” как “сообщающихся сосудов” давно стал хрестоматийным...

Пушкину не суждено было сочинить много-томную историю. Но образная ткань его произведений, но мысли, высказанные им о прошлом, сильно и глубоко повлияли на понимание исторических путей России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Пушкин*. Полное собрание сочинений. В 17 т. М.; Л.: Изд.-во АН СССР, 1937–1959.
2. *Вульф А.Н.* Из “Дневника” // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1974.
3. *Листов В.С., Тархова Н.А.* Труд И.И. Голикова “Деяния Петра Великого...” в кругу источников трагедии “Борис Годунов” // Временник Пушкинской комиссии. № 18. Л., 1980.
4. *Листов В.С.* Новое о Пушкине. М.: Стройиздат, 2000.
5. *Перфильева Л.* Арап – а состязается с Державиным // “Алфавит”. № 21. М., 1999.
6. *Вульф А.Н.* Рассказы о Пушкине, записанные М.И. Семевским // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1974.
7. Разговоры Пушкина. Собр. С. Гессен и Л. Модзалевский. М.: Федерация, 1929.
8. *Анненков П.В.* Из последних лет жизни поэта // *Анненков П.В.* Пушкин в Александровскую эпоху. Минск: Лимариус, 1989.
9. *Пушкин А.С.* Письма. В 3 т. Т. 2. 1827–1831. М.: “Захаров”, 2006.
10. *Листов В.С.* “История Петра” в биографии и творчестве А.С. Пушкина // *Пушкин А.С.* История Петра. М.: Языки русской культуры, 2000.
11. *Долгоруков П.И.* 35-ый год моей жизни, или Два дни вёдра на 363 ненастья // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1974.
12. *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 10 т. Т. 10. Л.: Наука, 1979.
13. Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. В 4 т. Сост. Н.А. Тархова. М.: Слово / Slovo, 1999.
14. Пушкин по документам архива М.П. Погодина. Публикация М. Цявловского // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934.
15. *Ахматова Анна.* О Пушкине. Статьи и заметки. Изд. 2. Горький, 1964.
16. *Оксман Ю.* Пушкин в работе над “Историей Пугачева” // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934.
17. *Овчинников Р.В.* Над “Пугачевскими” страницами Пушкина. М.: Советский композитор, 1981.
18. *Фейнберг И.* Читая тетради Пушкина. М.: Советский писатель, 1985.
19. *Листов В.С.* От составителя (О тексте пушкинской “Истории Петра”) // *Пушкин А.С.* История Петра. М.: Языки русской культуры, 2000.
20. *Попов П.* Пушкин в работе над историей Петра // Литературное наследство. Т. 16–18. М., 1934.